

Е. Замятин

ВСТРЕЧИ С Б.М. КУСТОДИЕВЫМ

Озаглавить это, в сущности, надо было иначе: «Встречи с Борисом Михайловичем и Кустодиевым». Именно так — не с одним, а с двумя. Потому что я встретился с ними не в одно время, и оба они — художник Кустодиев и человек Борис Михайлович — живут в моей памяти каждый отдельно.

С художником Кустодиевым я познакомился давно — это было не в Ленинграде, это было еще в Петербурге, на одной из выставок «Мира Искусства». На этой выставке я вдруг зацепился за картину Кустодиева и никак не мог отойти от нее. Я стоял, стоял перед ней, я уже не только видел — я слышал ее, и те слова, какие мне слышались, я торопливо записывал в каталоге — скоро там были исписаны все поля. Не знаю названия этой картины, вспоминается только: зима, снег, деревья, сугробы, санки, румяное русское веселье — пестрая, кустодиевская Русь. Быть может, помимо всего прочего, эта картина так много говорила мне еще и потому, что сам я в те годы жил как раз этими же красками: тогда писалось мое «Уездное». Правда, Кустодиев видел Русь другими глазами, чем я, — его глаза были куда ласковей и мягче моих, но Русь была одна, она соединяла нас, и встретиться раньше или позже нам было неизбежно.

Встреча эта, когда я узнал и полюбил не только Кустодиева, но и Бориса Михайловича, случилась нескоро, лет через десять, когда уже не было Петербурга, а был Петроград-Ленинград, когда пышная кустодиевская Русь лежала уже покойницей. О мертвой теперь не хотелось говорить так, как можно было говорить о живой; лягать издохшего льва — эта легкая победа меня не прельщала. Так вышло, что Русь Кустодиева и моя могли теперь уложиться на полотне, на бумагу в одних и тех же красках. Так вышло, что с художником Кустодиевым я встретился в общей нашей книге «Русь»; это же было началом моего знакомства с человеком Борисом Михайловичем.

Осенью 22-го года издательство «Аквилон» прислало мне «русские типы» Кустодиева, чтобы я о них написал статью. О чем же писать? О живописной технике Кустодиева? Об этом лучше меня напишут другие. Статьи я не стал писать, я сделал иначе: просто разложив перед собой всех этих кустодиевских красавиц, извозчиков, купцов, трактирщиков, монахинь, я смотрел на них так же, как когда-то на его картину на выставке, — и сама собой написалась та повесть («Русь»), которая вошла в книгу «Русь».

Повесть была кончена, и через день-два из «Аквилона» мне позвонили, что Кустодиев просит вечером заехать к нему. Это «вечером» я понял по-петербург-

ски, попал к Борису Михайловичу поздно, часов в 10, и тут для меня в первый раз открылась книга его жития. Иного слова, чем «житие», я не могу подобрать, если говорить о его жизни в эти последние годы.

Маленькая комнатка-спальня, и у стены справа в кровати — Борис Михайлович. Эта кровать здесь не случайная вещь, я ее хорошо помню: от изголовья к ногам, на высоте, так, аршина с небольшим, был протянут шест — мне было непонятно, зачем это. На столике возле кровати лежала моя рукопись, Борис Михайлович хотел показать мне какие-то места в тексте, протянул руку — и вдруг я увидел: он приподнялся на локте, схватился за шест и, стиснув зубы, стиснув боль, нагнул вперед голову, как будто защищая ее от какого-то удара сзади. Этот жест я видел потом много раз, я позже привык к этому, как мы ко всему привыкаем, но тогда — помню: мне было стыдно, что я — здоровый, а он, ухватившись за шест, корчится от боли, что вот я сейчас встану и пойду, а он встать не может. От этого стыда я уже не мог слушать, не понимал, что говорил Борис Михайлович о нашей книге, и поскорее ушел...

С собой я унес впечатление: какой усталый, слабый, измученный болью человек.

Через несколько дней я опять был здесь, чтобы на этот раз увидеть: какой бодрости, какой замечательной силы духа человек.

Меня провели в мастерскую. День был морозный, яркий, от солнца или от кустодиевских картин в мастерской было весело: на стенах розовели пышные тела, горели золотом кресты, стлались зеленые летние травы — все это было полно радостью, кровью, соком. А человек, который напоил соками, заставил жить все эти полотна, сидел (возле узаконенной в те годы буржуйки) в кресле на колесах, с закутанными мертвыми ногами и говорил, подшучивая над собой: «Ноги что... предмет роскоши. А вот рука начинает побаливать — это уж обидно...»

Многое нам раскрывается только в противопоставлениях, только в контрастах. И только в этот день, когда я впервые увидел в одной комнате рядом художника и его картины, рядом художника и человека — я понял: какую творческую волю надо иметь в себе, чтобы, сидя вот так в кресле и стискивая зубы от боли, написать все эти картины. Я понял: человек Борис Михайлович сильнее, крепче любого из нас. И еще: его жизнь — это «житие», а сам он — подвижник, такой же, каких в старое время знала его любимая Русь. С той только разницей, что его подвиж был не во имя спасения души, а во имя искусства. Илларион-Затворник, Афанасий-Сидящий, Нил-Столбенский-Сидящий и вот в наши дни — еще один «затворник» и «сидящий». Но этот затворник не проклинал землю, тело, радость жизни, а славил их своими красками.

* * *

Как известно из всех четий-миней, всякому настоящему затворнику и подвижнику по временам являлись бесы и соблазняли их. На мою долю выпало стать таким бесом для Бориса Михайловича. И последствием соблазна была единственная появившаяся в печати серия эротических рисунков Кустодиева —

иллюстраций к моему рассказу «О том, как исцелен был отрок Еразм». Эта книга (выпущенная издательством «Петрополис» в Берлине) была второй нашей совместной работой с Борисом Михайловичем.

Задача для художника здесь была очень трудная. Речь шла, конечно, не о примитивной, откровенной эротике, вроде известных работ Сомова: нужно было в иллюстрациях дать то, что текст давал только между строк, только в намеках, в образах. И эта как будто неразрешимая задача была решена Кустодиевым с удивительным изяществом, с удивительным тактом — и добавлю еще одно: с большим чувством юмора.

Как сумел Кустодиев сохранить в себе это чувство, как сумел невредимым пронести через свое житие — я не знаю. И еще больше, чем у художника Кустодиева, это было у человека, Бориса Михайловича: он любил шутку, острые слова, смех. Он смеялся иногда так молодо и весело, что становилось завидно нам, здоровым, сидевшим за одним столом с ним¹.

Веселым я видел Бориса Михайловича не раз, я часто видел его усталым, больным — но я никогда не видел его унылым, никогда не видел, чтобы у него опускались руки. Причина, может быть, в том, что эти руки были вечно заняты, на столике, приделанном к его креслу, перед ним всегда лежала какая-нибудь работа. И, помню, он часто говорил, что работа — для него самое лучшее лекарство.

Но иногда работа становилась для него не лекарством, а болезнью — болезнью не человека Бориса Михайловича, а художника Кустодиева. «Делаю все какие-то полузаказы тошнотворные, стараюсь собрать деньги на поездку, денег не платят...», — писал он мне летом 26-го года. А тогда — в 23-м, в 24-м годах — от этой тошнотворной болезни он страдал еще сильнее. Чтобы жить, есть, топить буржуйку, приходилось откладывать свою, настоящую работу и приниматься за эти «полузаказы». Я видел, как у него в таких случаях вдруг начинали ломаться карандаши, пропадать резинки, все не ладилось, все раздражало. Помню, однажды при мне ему принесли обложку, сделанную им по заказу издательства «Земля и Фабрика», рисунок оказался неподходящим «к идеологическому заданию», его нужно был скомпоновать заново. В тот день, единственный раз за все годы нашего знакомства, я видел, как Кустодиеву изменило обычное его умение владеть собой — я видел Кустодиева по-настоящему рассерженным.

* * *

В начале зимы 23-го года Борис Михайлович захотел сделать мой портрет, и недели две подряд я приходил к нему почти каждое утро. В мастерской еще бы-

¹ Я представляю себе, например, как бы он смеялся, если бы ему удалось прочесть напечатанную в «Известиях» статью московского критика Фриче, где Фриче пишет о Кустодиеве и обо мне: Фриче противопоставляет добродетельного Кустодиева недобродетельному мне, в невинности своей совершенно не подозревая, что Кустодиев делал рисунки к моему рассказу «О том, как исцелен был отрок Еразм», что «Русь» написана как текст к картинам Кустодиева.

Мне жаль, что Борису Михайловичу не пришлось лишний раз в жизни хорошо посмеяться.

ла настоенная за ночь тишина, потрескивала печь, за окном — в Введенской церкви — звонил колокол. Борис Михайлович протягивал руку по-особенному, осторожно, ковшиком: рука побаливала, он ее берег. Поздоровавшись, он, чтобы согреть руку, сейчас же прятал ее за пазуху — и вдруг неожиданно вытаскивал оттуда одного котенка, другого: животных он очень любил. Потом, ловко орудуя колесами своего кресла, он выбирал нужное положение, брал карандаш. Губы у него еще посмеивались, еще кончали что-то говорить, но глаза тотчас же менялись, они становились острыми, как у охотника, взявшего ружье на прицел. Сначала он работал обыкновенно молча, и только потом, когда — как он называл это — «карандашом разогревался», мы начинали разговор.

Кажется, позже мне уже никогда не удавалось говорить с ним так, как говорилось этими зимними утрами. Говорили обо всем: о людях, о книгах, о странах, о театре, о России, о большевиках. Иногда удавалось вспомнить и рассказать что-нибудь смешное, тогда он бросал карандаш и хохотал, согнувшись, чтобы не было больно от смеха. Но чаще всего или он мне рассказывал о своих прежних путешествиях, или я ему — о своих. Для христианских подвижников, обреченных жить в целомудрии, соблазн, естественно, принимал форму женщины; для Кустодиева, обреченного жить в четырех стенах, соблазн, естественно, воплощался в путешествии. Подчас он начинал мечтать вслух: «Эх, попасть бы еще раз в жизни куда-нибудь... В Париж... нет, лучше в Лондон, и чтобы сидеть где-нибудь наверху, на десятиэтажной крыше, чтобы оттуда все было видно...» От многолетнего затворничества, от хронического зрительного недоедания у него был настоящий глазной голод.

Как-то я пришел к Борису Михайловичу и увидел его кресло на совсем неприличном месте: в углу у окна. Слегка перегнувшись, он все посматривал на улицу и не торопился, как обычно, сесть за работу. Я спросил, в чем дело. «А сегодня поздняя обедня, сейчас будут выходить из церкви, надо посмотреть», — объяснил он мне. И я понял: для его изголодавшихся глаз это было уже богатой пищей.

Откуда же при такой бедности внешних впечатлений брал Кустодиев весь пестрый, богатый материал своих картин? Очевидно, зрительная память у него была необычайная, где-то в недрах ее хранились еще полные амбары всяких запасов, и запасы эти были неисчерпаемы.

* * *

В эти недели, когда делался портрет, изо дня в день развертывались передо мною страницы кустодиевского жития, и все яснее становилось мне, какая огромная сила духа у этого человека.

По моим впечатлениям, этой зимой Борис Михайлович чувствовал себя хуже, чем когда-нибудь. Особенно его мучили судороги. К его креслу был приделан столик со съемной фанерной крышкой, и один раз случилось так, что подброшенные судорогой ноги столкнули эту крышку, посыпались краски, карандаши. С тех пор во время работы приходилось привязывать ноги ремнями к креслу. Боли от этого, конечно, не становились легче.

Помню, не один раз я видел, как вдруг странно менялось у Бориса Михайловича лицо: резко краснела правая половина, а левая оставалась бледной. И затем все тот же знакомый жест: втянутая в плечи, нагнутая вперед голова — как будто он чувствовал сзади себя занесенную для удара чью-то руку.

Видеть это было физически больно. Но сколько раз я ни предлагал Борису Михайловичу бросить работу и хоть ненадолго отдохнуть, он никогда не соглашался. Каким-то невероятным усилием воли он преодолевал боль и продолжал рисовать — то, что ему хотелось, свое, настоящее, и то, что было нужно для того, чтобы жить, есть, топить печку.

Было одно, что пугало его и о чем ему было жутко подумать: это боли в правой руке. Только раз или два, помню, он сказал мне, что теперь ему иногда трудно держать в руке карандаш или кисть. Это грозило ему потерей самого смысла его жизни, это было все равно, что у христианского святого отнять веру в Бога.

Оставалось только одно: попробовать операцию (это была уже третья по счету), и Борис Михайлович уехал в Москву. Сложнейшую эту операцию — удаление опухоли в позвоночнике — делал известный немецкий хирург Ферстер, тот самый, который лечил Ленина. Операция длилась четыре с половиной часа, наркоз был только местный, последние два часа он уже не действовал. Какое нечеловеческое терпение нужно было, чтобы вынести это!

Желание жить и работать было так велико, что Борис Михайлович вынес и мог еще несколько лет продолжать свой подвиг. После операции я увидел его повеселевшим, мучительные судороги теперь прекратились. Однажды он даже сказал, что как будто в ногах возвращается чувствительность. Но больше об этом никогда уже не говорил. После операции стало только немного легче, но житие не превратилось в жизнь...

* * *

Зима 24—25-го года связала меня с Кустодиевым еще ближе: в эту зиму появилось на свет новое наше общее детище — спектакль «Блоха» — в Художественном театре (2-м) в Москве.

Театру — и это понятно — хотелось иметь художника под рукой, в Москве. Попробовали Крымова, но то, что он сделал, не понравилось. А репетиции были уже в полном ходу, уже пора было делать декорации. Однажды утром с режиссером «Блохи» Диким мы сидели вдвоем в пустом темном фойе и говорили... — нет, не говорили, а молчали об этом. У обоих на языке вертелось одно и то же имя: Кустодиев, и оба разом сказали его вслух. Послали Кустодиеву телеграмму и получили от него ответ, что он согласен и уже приступает к работе.

Работал он над «Блохой» с большим увлечением. Да это и понятно: здесь во всю силу могли загореться краски его любимой Руси. И думаю, не ошибусь, если скажу, что это была одна из самых удачных — может быть, даже самая удачная — его театральная работа.

Опять каждые два-три дня я приезжал к Борису Михайловичу, он показывал уже сделанное, мы выдумывали новые подробности, новые забавные трюки.

Работать с ним было настоящим удовольствием. В большом, законченном мастере, в нем совершенно не было мелочного самолюбия, он охотно выслушивал, что ему говорилось, и не раз бывало — менял уже сделанное. Ему хотелось, чтобы вышел по-настоящему хороший спектакль, и он, не жалея труда, делал для этого все, что мог.

Скоро эскизы декораций были готовы, отправлены в Москву, и через день оттуда было получено восторженное письмо Дикого. Теперь театр был уверен в успехе спектакля.

От напряженной работы над «Блохой» Кустодиеву все время приходилось отрываться для выполнения разных скучных заказов обложек, иллюстраций. Он чувствовал себя очень усталым, но тем не менее решил непременно ехать в Москву к премьере «Блохи» и числа 7-8 февраля был уже там. Поселили его в самом театре, в комнате правления, рядом с фойе. Помню, с какой особенной нежностью относились к нему все актеры. В комнату правления началось паломничество: приходил то один, то другой, то несколько вместе. А работа над спектаклем — уже совсем лихорадочная — перед генеральной — шла своим чередом, и этой лихорадкой заражался Борис Михайлович. В пустой темный зал, освещенный только лампочкой за режиссерским столиком, вкатывалось его кресло и становилось в проходе, Борис Михайлович сам проверял монтировку, свет, гримы, костюмы...

И наконец, это же кресло Бориса Михайловича — уже в ярко освещенном зале. Декорации каждого акта встречаются аплодисментами. Театр победил, и большую долю этой победы, конечно, нужно отнести на счет Кустодиева.

Ценнее всего, мне кажется, что в этой постановке Кустодиев победил не только публику, но и самого себя. Это была едва ли не первая его крупная работа, где он совершенно отошел от обычной своей реалистической манеры и показал себя большим мастером в совершенно как будто для него неожиданной области — в гротеске. Но и в этой области он оставался верен своей неизменной теме — Руси.

* * *

Весной 24-го года поднялся вопрос о постановке «Блохи» в бывшем Александринском театре. Казалось, что, если и здесь художником спектакля будет Кустодиев, вся постановка выйдет слишком похожей на московскую. Попробовали иметь дело с другими художниками, сначала один, потом другой сделали эскизы и макеты к «Блохе», но все выходило не то.

Как «Блоха», с которой он так сжился и которую так любил, пойдет без него, — этого Борис Михайлович представить не мог. «А все-таки ее еще раз сделаю, по-новому — пускай хоть для себя», — говорил он мне. И действительно, сделал новые эскизы декораций и костюмов. Кустодиев в них, конечно, остался Кустодиевым, но богатая его фантазия сумела найти другое — и не менее удачное — разрешение задачи.

Эскизы эти были осуществлены в ленинградской постановке «Блохи» в Большом драматическом театре (зима 1926—1927 года).

После ленинградской премьеры «Блохи» шуточным обществом «Физико-Геодетрическая Ассоциация» — в сокращении «Фига» — устроен был «блшинный вечер». Для этого вечера мною написан был пародийный рассказ «Житие Блохи»: туда попал и автор пьесы, и художник ее, и актеры, и критики. Борис Михайлович прочитал «Житие» и шутя пригрозил мне: «Ну, ладно, я вам за это отомщу — будете помнить».

Когда я в следующий раз увидел Кустодиева, он уже начал «мстить»: он показал мне два первых своих рисунка к «Житию Блохи». Насмешливо-благочестивые, рисунки эти были сделаны в той же манере — старой деревянной русской гравюры, — как иллюстрации к «Еразму», но были еще изящней, острее, легче, лаконичней, может быть потому, что Кустодиев делал это весело, для себя, играючи.

Из задуманных, сколько помню, двенадцати рисунков он сделал только семь: «отомстить» до конца он не успел...

Ленинградская постановка «Блохи» и книжка «Житие Блохи» — это были уже последние совместные работы с Кустодиевым.

* * *

Еще раз мне пришлось близко подойти к Борису Михайловичу летом 26-го года.

Как только за окном, за высушенной мостовой, по-весеннему застучали колеса, Борис Михайлович по обыкновению начал мечтать о путешествиях. И по обыкновению ни для каких дальних путешествий не было денег. «Куда бы, куда бы это поехать, чтоб и капиталов хватило, и чтобы это была не петербургская дача, а настоящее?» — спрашивал он меня.

— Это лето я собирался проводить у себя на родине — в самом черноземном нутре России — в городишке Лебедянь Тамбовской губернии. Я предложил поехать туда и Кустодиеву, по правде говоря без всякой надежды, что из этого выйдет что-нибудь, кроме разговора, потому что добраться туда нелегко: в поезде две ночи, одна — в жестком вагоне. Но когда я стал рассказывать о ржаных полях, о горё, уставленной церквями, об увешанных наливными яблоками садах, Борис Михайлович вдруг загорелся и решил непременно все это увидеть.

Я уехал в Лебедянь раньше. Борис Михайлович с семьей попал туда только месяца через полтора, в начале августа. К приезду для него была уже найдена квартира — две комнаты с балконом в белом одноэтажном домике окнами на уличку, густо заросшую травой. Перед балконом ходил привязанный к колышку белолобый теленок, важно переваливались гуси. В базарные дни, распугивая гусей, тарактели телеги, шли пешком пестропаневые бабы из пригородных сел. Одним концом улочки упиралась в голубую, наклоненную, как Пизанская башня, колокольню елизаветинских времен, а другим — в бескрайние поля. Это было «настоящее», это была — Русь.

Я жил на соседней улице, в пяти минутах от квартиры Кустодиевых. Каждый день или я с женой приходили к Борису Михайловичу, или его в кресле привози-

ли к нам в сад, или Кустодиевы и мы отправлялись на берег Дона, на выгон, в поле. И тут я видел, с какой жадностью Борис Михайлович пожирал все изголодавшимися глазами, как он радовался далям, радуге, лицам, летнему дождю, румяному яблоку.

В том саду, где я жил, этим летом фрукты были особенно хороши. Часто мы приберегали для Бориса Михайловича ветку яблок, потом подвозили его в кресле, и он сам рвал яблоки с дерева. «Вот, вот этого мне и хотелось — чтобы самому рвать», — говорил он. И, хрустя яблоком, набрасывал этюды: ему очень нравился вид сверху, из сада, на другой берег Дона.

Я редко видел раньше Бориса Михайловича таким веселым, разговорчивым, шутливым, каким он был этот месяц. Но к концу августа погода как-то испортилась, заходило, пошли дожди, Борис Михайлович начал жаловаться, что зябнет, и скоро уехал к себе в Ленинград. Зимой я увиделся там с ним уже на репетициях «Блохи» в Большом драматическом театре. А когда опять настало лето (1927), Бориса Михайловича уже не было.

* * *

Так замкнулся круг моих встреч с Кустодиевым: от книги «Русь» до этой живой Руси: так вышло, что с ней, любимой его Русью, он провел последнее лето своей жизни. Это было не случайно: Русь, в сущности, единственная тема всех его работ, он ей не изменил, и она не изменила ему — и не изменит.

Уже после смерти Кустодиева мне случилось говорить о нем с одним из больших наших художников. Мой собеседник признался мне: «Ведь вот при жизни я, пожалуй, не очень даже любил работы Бориса Михайловича. А теперь, когда он умер, вижу, как его не хватает, и вижу, что его место некому занять, и так оно останется незанятым никем».

Он был прав. Потому что Кустодиев был единственный, неповторимый художник, и единственным было его удивительное, подвижническое житие.

1928 г. Петербург